

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

СИБИРИАДА

A man in a military uniform and cap stands in an apple orchard. He is wearing a brown jacket and a dark cap. The background is a lush green orchard with many red apples hanging from the trees. The scene is framed by a yellow border.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Александр Донских

Яблоневый сад

«ВЕЧЕ»

2019

Донских А. С.

Яблоневый сад / А. С. Донских — «ВЕЧЕ», 2019 — (Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-8108-6

Новая книга лауреата литературной премии им. В. Г. Распутина, известного иркутского писателя Александра Донских составлена из очерков, статей и бесед, написанных автором в разное время. Их объединяет то, что они посвящены истории нашей родины, непростым размышлениям о ее судьбе, о людях, составляющих ее народ, о ее настоящем, прошлом и будущем. «Подумайте, – призывает автор, – в какую землю и что мы сеем? Земля – жизнь как есть, семена – наши дела и мысли. Что же мы пожнём в скором времени или через многие годы? Какое поколение поднимется на бескрайнем русском поле жизни?»

ISBN 978-5-4484-8108-6

© Донских А. С., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Мама Белла	6
1	6
2	8
3	13
4	17
Широка страна моя родная...	19
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Александр Донских

Яблоневый сад

© Донских А.С., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Мама Белла

1

Со словом *сирота* я, домашнее дитя, юноша, молодой человек, зачастую воображал худенького, бледненького ребёнка, покорно-смиренного, терпеливо ждущего от тебя, как собачка, гостинца и ласки. Этому образу суждено было вдребезги рассыпаться, когда капризные и неожиданные служебные обстоятельства повернули мою, уже педагогическую, относительно зрелую, жизнь так, что я на несколько лет попал в самую гущу российской сиротской юдоли – в интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – так официально эти приюты именуются.

Едва ли не в первую же минуту моего соприкосновения с подопечным мне седьмым классом я от миловидного, кудрявого паренька услышал:

– Пошёл-ка ты вон отсюда, дядька! Без тебя знаю, чё надо!

А я всего-то попросил его не крыть матом и не хлестать занозистой рейкой двух девочек.

Мои парни накуривались и нанюхивались всякой мухотравной гадости где-нибудь за углом, под забором, в кустарниках до того, что, мерещилось, начинали синевато светиться. И язык у них заплетался в несурзаице, в несусветной матерщине.

Утром, после моего решительного требования встать с постели, умыться и одеться, от меня обязательно кто-нибудь сматывался, а заявлялся поздно вечером, к отбою, замызганный, оборванный и пропахший густейшими, непереносимыми запахами помоек и костров. А то и вовсе отправлялись мои разудалые хлопцы-махновцы в длительное путешествие – месяца этак на два-три, по Сибири или даже дальше. С милицией отлавливали беглецов.

Девочки молчаливы, угрюмы, чаще спокойно-холодны со всеми, даже друг с другом, однако – в тихом омуте, говорят, черти водятся. Другой раз и они такими сюрпризами меня одаривали, что содрогалось, а следом холодело в груди. Как-то раз одна из них, такая тихоня, сонновато-вялая, я не помню, чтобы она и слова-то молвила, на моё вскользь, на бегу оброненное замечание о её несвежем подворотничке неожиданно изрекла:

– Обольюсь бензином, подпалюсь – пускай вас засудят.

А другая, всё вившаяся возле меня, чрезвычайно ласково, ну просто ангельски заглядывавшая в мои глаза – я поначалу мало и смотрел-то на неё, потому что увяз в хлопотах с мальчишками, – одним прекрасным утром нежданно-негаданно переменялась ко мне. Пройдёт около меня и как бы по другому поводу пропоёт:

– Фу-у-у-у!

И этак разочков по десять за утро. Я – терплю, терплю, помалкиваю. Да дня через два она – дальше, больше: с подъёмом не встаёт с постели. Подойдёшь к ней, коснёшься плеча и попросишь подняться. Она же как привскочит и – в крик:

– Что вы меня преследуете?! Житья из-за вас нету!

И плюхнется в подушку, рывком натянет на голову одеяло. Стоишь столбом и думаешь, как же к ней подступиться.

Но к таким детям и в самом деле мудрёно подступиться, заглянуть в их сердце. И не понимаешь их, и сердисься. Но отмягчаешься, и душой к ним просветляешься, и за грех принимаешь сердиться, когда узнаёшь их столь ещё коротенькие судьбы, но нередко густо замешанные на всём, наверное, самом низменном, непотребном, а то и страшном, что придумал человек для себя и ближних своих. Чего только эти горемыки не вынесли после рождения и до водворения в приют!

У одного мальчика вечно пьяный отец зарубил мать, а он, спрятавшись, сидел под столом и всё видел. Мальчика забрали из дома в обмороке. Сейчас он болен, и, быть может, на всю жизнь. Шумливый паренёк, да время от времени внезапно начинает оседать, оседать. И видишь – он уже спит в полуприсяде, следом – на корточках, глаза открыты, но подзакатились. Тревожно. Жутковато. Несколько минут, привалившись к стене, дремлет. Потом вздрогнет, убежит, завалится где-нибудь в пустой комнате – снова уснёт. Разбудишь – обматерит тебя, а то и норовит ударить чем ни попадя.

У тоненькой Кати папа в заключении, уже двадцатый год. Выйдет человек после очередного срока, месяц-два подышит на воле, обберёт или изобьёт кого-нибудь – и сызнова, как говорят, на отсидку. Братьев и сестёр у Кати восьмеро, все – по интернатам и детским домам, потому что маму, когда она была беременна Катей, муж, спьяну вспливав, зашиб молотком и испинал, – теперь она душевнобольная, в психлечебнице. Катя родилась хроменькой. Отца посадили. Так и живут в законном браке: муж и жена вроде бы, и дети рождаются совместные, да не по себе становится, когда вдумаешься, *что* их жизнь.

У двух братьев-близнецов отца не было, а мать, молодая, симпатичная полуцыганка, уж очень хотела *жить*. Но эта малышня вопит, всё-то чего-нибудь требует от неё. До трёх лет доросла, да так, что даже разговаривать они не научились. Закрывала мальчишек дня на два-три. Они исходили слезами, визжали. Соседи были не очень-то сердобольные, держались одного железобетонного закона: моя хата – с краю. А дети от голода и жажды умирали. Если же зима да печь не топлена – что уж говорить! Придёт, накормит, мало-мало обстирает и – снова *жить* пошла. Однажды принесла в избу два ведра воды, сварила две кастрюли супа, сказала несмышлёнышам: «Бог вам поможет», чмокнула и – нет её. Дверь, спасибо, не закрыла на замок. Месяц мальчики прожили одни, всё съели, всё выпили, кожу с ботинок принялись жевать. Смертынька бродила рядышком, присматривалась. Сосед рискнул, наконец, полюбопытствовать, почему дверь второй месяц без замка. Толкнул её и ахнул: два шевелящихся скелетика лежали на полу. Чудом спасли близнецов, выходили, научили разговаривать.

Разные судьбы у интернатских детей, однако все отмечены каким-нибудь горем и бедой. Кто брошен прямо в роддоме, у кого родители в психлечебнице, у кого прав лишены, у кого по тюрьмам да зонам, у кого опочили, сгинули без вестей.

Трудное и зачастую даже неблагоприятное дело растить сирот. Они точно бы кустики с тайными шипиками или колючками: такие пышные, с цветами – порой милые и безобидные с виду, но протяни руку к цветочкам или ветвям – и вскрикнешь. Уколотое место потом долго саднит. С такими хитрыми кустиками надо уметь обращаться; однако же раниться всё одно будешь. Интернатские воспитатели, как я понимаю, те люди, которые знают, что будет укальвание, что будет боль, но в том и мужество, если не подвиг, этих людей, что они, добровольно укальваясь, наперекор всему ухаживают за этими не всегда милосердными растениями. С годами воспитатель, конечно же, набирается опыта. И уже не трогает без нужды ветки и цветы, а умеючи возвращает свои кусты, которые много лет спустя одаривают своего состарившегося садовника отрадными плодами доброты и милосердия. Отеческое или материнское питание добротой или строгостью обездоленных детишек – поистине многотрудное дело; сколько знаю людей, которые отступили, ушли. И понимаю: трижды мужественен тот, кто на всю жизнь стал верным их садовником. Об одном из них и наш коротенький сказ – об Изабелле Степановне Пивкиной, о *маме* и *бабе Белле*, как зовут её теперь многие бывшие питомцы и их дети. Работает она в школе-интернате славного сибирского города Ангарска, города нефтехимиков и строителей, города, рождённого Победой.

2

Как-то неделю спустя с начала моей работы в интернате иду по коридору и слышу – в одной из классных комнат возгласы, суетливый шум. Думаю, какой-нибудь воспитатель *пропесочивает* своих подопечных, а те поднялись против – такое частенько случается в сиротских учреждениях. Степенной перевалкой словно бы проплывает мимо меня полноватая воспитательница младшего класса и на ходу для себя и для меня одновременно говорит:

– Опять эта наша Белка куда-то набаламутилась. Не сидится же человеку – прыгать, бежать, лететь ей надо.

– Что за Белка? – интересуюсь.

– Да вы что же, не знаете?! – плавно вскидывает ручками и приостанавливается. – Белла наша – звезда незаходящая, – посмеивается женщина. – Скоро уж бабоньке на пенсию, а она, глядите-ка, чего вытворяет: в поход аж на неделю наострячилась, а на дворе – март. Ветер завивает и мороз пощёлкивает. Какие же могут быть походы с детьми в марте у нас, в Сибири?

И, плотненько укутавшись толстой пуховой шалью, хотя было тепло в коридоре, моя нечаянная собеседница гладко и валко двинулась своим путём. А я, не пересилив любопытства, тихонько заглянул в приоткрытую дверь, за которой *набаламучивала* своих ребят *Белка*. Вдоль стен на корточках сидели воспитанники и усердно набивали рюкзаки походным скарбом. В комнате находилось несколько мужчин в милицейской форме, они пособляли детям. Все увлечённо, громко, жестикулируя переговаривались. Воспитанники, восьмиклассники, поругивались друг с другом, выпаривая, кому что взять и сколько. А между ними перебегала от одного к другому, резко взмахивая по-птичьи руками-крыльями и кивая головой в одобрении или несогласии, маленькая – так и тянет сравнить её с воробьём – женщина в поминутно сползающих на самый кончик носа очках, в трико и кроссовках. И если не видеть её лица, то и подумаешь, что какая-то молоденькая вожатая перед тобой. Она до того живо и стремительно перемещалась, что было сложно уследить за ней, но прекрасно слышался её распорядительный, звончатый голос:

– Михаил, тебе и этого хватит, не набивай много в рюкзак. Наташа, отдай эти тяжеленные банки парням. Иван Семёныч, затяните-ка Вите рюкзак потуже... Командир! – неожиданно призвала она. – Где у меня командир?!

– Я здесь!

– Ко мне!

Рыженький паренёк летит к воспитателю через всю комнату, нечаянно сшибает несколько котелков – грохот, девчоночий визг. Весело.

– Что такое, Белла Степановна? – выдыхает он.

– «Что такое», «что такое»! Почему спальники не просушены?!

– А я не зна-а-а-ю.

– О-о! Да кто же должен «зна-а-а-ать»? – передразнивает она. – Ты – командир! Командир! Это звучит, как и слово «человек», гордо!

– Понял, Белла Степановна!

Паренёк подхватывает несколько спальных мешков и выскакивает в коридор.

– О-о! – вскрикивает Белла Степановна. – Стой же! Ты – кто?

– К-ко-мандир.

– Ну так и *будь* не каким-нибудь *к-ко*-мандиром, а – командиром, полководцем, вожакom! Ясно?

Паренёк улыбается рыже-красным солнышком:

– Ясно! Понятно! Эй, Митяй, унеси к девчонкам в спальню: пускай просушат на калорифере. Да проследи и проверь после!

Белла Степановна вдруг подбежала ко мне:

– Коли вы здесь – не поможете?

– С удовольствием.

И я включаюсь в общую работу. Все веселы, говорливы, приветливы. Белла Степановна всё видит, всё знает, всё направляет, всем и вся руководит. Без её ведения никто и шагу не шагнёт. Её все слушаются, но не покорно, обречённо, под нажимом – что я потом часто замечал у других воспитателей, – её дети даже с какой-то восторженной радостью выполняют малейшие её просьбы. Сдавалось мне, что каждый ждёт, чтобы она именно его о чём-нибудь попросила, дала задание, поручение.

Наконец всё уложено, связано, подогнано. Воспитанники с шефами-милиционерами унесли рюкзаки в кладовую до утра.

– Не холодно ли будет в такое-то время в тайге? – спрашиваю у Беллы Степановны.

Она как будто вздрогнула от моего вопроса, поправила вечно сползающие очки, но тут же вся замерла и до чрезвычайности внимательно и зорко посмотрела на меня. «Экий изнеженный: мороза, бедняжка, боится!» – скользом подхватываю в её очевидно *воспитывающем* взгляде.

– Так ведь спальники и палатки берём, – по-прежнему остро всматривается в меня, как в непонятное для себя существо. – А наши свитера видели? Отличные! Ничего, пусть ребятишки закаляются, набираются опыта, чтобы по жизни потом не пасовать и не хныкать.

– В какие края направляетесь?

– Будем исследовать Кругобайкальскую дорогу. – *Исследовать* прозвучало гордо, значительно, даже слегка важно. – Два года изучали её историю, а теперь взглянем, так сказать, на историю вживе.

На том мы с ней тогда и расстались. А примерно месяца через полтора гляжу – её воспитанники снова укладывают, утрамбовывают рюкзаки.

– Куда же на этот раз? – спросил я у Беллы Степановны.

– В Тофаларию. Двухнедельный поход на оленях. Вы представляете, как это здорово? Моя ребятня обалдевает!

Точно! Вижу: жух, жух – туда-сюда носятся воспитанники, получая продукты и скарб со складов. Командир, отмечаю, уже другой, девочка. И в повадках – словно бы родная дочь Беллы Степановны: так же резко, птичьим порывом вскидывается всем телом и требует к себе кого-нибудь, так же рубит фразы, такая же худенькая, маленькая, бегучая – истый слепок с Беллы Степановны, только – курносенький, смешной, наивный. Я замечал, они все хотели походить на неё, свою *мату Беллу*, как тайком звали её.

– Что-то частенько меняются у вас командиры, – спрашиваю у Беллы Степановны. – Каждый месяц – новый.

– Да! – гордо (но у неё это славно получается: не задиристо и не обидно) заявляет она. – У нас *так* заведено. Каждый должен попробовать себя и в начальниках, и в подчинённых. И бригадиры меняются постоянно.

Чуть меньше месяца минуло, смотрю, а её ребятишки снова укладывают рюкзаки, испытывают надувные лодки.

– Куда же вы на сей раз? – усмехаюсь невольно и понимаю – не надо бы.

– По Иркуту будем сплаваться. О-о, там, я вам скажу, места-а-а: закачаешься! – Бывает, вот так, по-молодёжному, другой раз выражается Белла Степановна.

Мне кажется, она *не* умела быть *не* молодой. Случается такое с редкостными, недюжинными людьми: были-жили они когда-то молодыми, по-молодому, молодецки, да так и задержались в этом благодатном состоянии. Им говорят, что пора бы, мол, вспомнить себя, сударыня или сударь. А они несутся в своих бесконечных нетловных делах, ветер словно бы свищет в ушах – и они не слышат, что там им такое говорят.

– Уж очень часто вы в походах, – как-то заметил я Белле Степановне.

– Да я вообще только в походах и жила бы с детьми! – со своей обычной озорной горделивостью заявила она, но сморщила губы: – В этих стенах ску-у-учно воспитывать и – жить. Там же, в тайге... ах, что рассуждать! Надо вас тащить в лес – многое что поймёте и почувствуете. По-настоящему! Очень хочется, – неожиданно перестроилась она на серьёзную ноту, – чтобы каждую минуту в их жизни было что-нибудь красивое и необыкновенное. Ведь сердца у детей – сплошные раны. Надо залечивать рубцы. Лучшее лекарство по жизни – красота. Правильно? Правильно!

Мне не довелось побывать с ней и её детьми в походах, увидеть, как они *вживе* изучают историю, как *врачает* она души, но я видел её воспитанников после походов – они разительно отличались от остальных интернатских детей. Тех чаще видишь сосредоточенно-угрюмоватыми, скудно улыбающимися, всё-то болеющими до сероватой бледности на лицах какими-то своими нелёгкими думками и думами. Печальными малорослыми старичками и старушками они воображались мне. А ребятня мамы Беллы – бодрый бесенятский дух так и крутит в них, брызжет во все стороны, точно фонтан. Разговоров о походе с товарищами из других классов столько, что ни одна толстая энциклопедия не уместит. И обсосут косточки каждого мало-мальски интересного происшествия, и навдумывают с гору всего и всякого. Если слышите, что какая-то группа восьмиклассников заливается смехом, – дети мамы Беллы. Если видите весёлую возню в коридоре – тоже они. Если встречаете румяное детское лицо – и оно зачастую оттуда же.

Позже я узнал: как турист Белла Степановна в интернате обособленно одинока. Что-то не тянет других воспитателей в комариные таёжные дебри, на горные тропы и речные стремнины. Если выводят детей в поход, то раз-два лет этак в пять – семь, да куда-нибудь в лесок, который находится сразу за городом, окуривается нефтехимическими дымами. Сердятся они на свою *звезду незаходящую*: как, видимо, безмолвный она укор для них, напоминание о чём-то важном и серьёзном, как судьба. Можно ли за это винить женщин? Мне представляется, что никак нельзя: всё же не каждому суждено быть *звездой незаходящей*. А вот сердиться не надо бы!

Однажды прибыла Белла Степановна с воспитанниками из какого-то похода. Вваливается заснеженная, краснощёкая ватага в фойе. На вахте разговаривают три-четыре воспитательницы. Белла Степановна – к ним:

– Здравствуйте, девочки! А вот и мы нарисовались!

Но воспитательницы – короткое, прижатое «здравствуйте», не улыбнулись, не спросили, как и что, – а как в таких случаях не любопытствовать? Повертелись с особенной озабоченностью, словно бы выискивали своих воспитанников, и скоренько разошлись. Белла Степановна зорким прищуром глянула вслед, направились было к своим детям, да я, извинившись, остановил её на минутку:

– Что ж они так?

– А ну их! – хлопнула она себя по ноге, как сгоняют насекомое, и – к детям. Я понял, что её жизнь в коллективе несладкая и, видимо, полна драм и подковёрщины всякой.

Белла Степановна вдруг вернулась:

– Не хотите со своими детьми и с нами встретить Новый год в лесу? Это будет бесподобно! – уже улыбалась и сияла она.

– В лесу?! Новый год?!

– Да-а-а! Вывезем ребятню и тако-о-о-ое там отбачаем – ух, жизнь моя копейка!

Вот там я и увидел, что означает воспитывать красотой, чем-то необыкновенным, жить с красотой и как эту красоту и необыкновенное творить и дарить. К сожалению, мы отправились не в поход, а всего лишь автобусом вполне комфортабельно выехали на один всего денёк, точнее ночь, на загородную турбазу.

Тронулись в путь вечером, часов в девять. Дети Беллы Степановны пели, а она, подтягивая, дирижировала. Мои воспитанники помалкивали, только две девочки нашёптывали мотив в ладошку. Непривычно им было вот так запросто распевать и веселиться.

– Стойте, стойте, товарищ шофёр! – вскрикнула Белла Степановна. – Едем назад.

– Что такое?! – ударом по педали затормозив, привскочил шофёр.

– Оставим в интернате всех, кто не поёт: нам такие некомпанейские фуры-муры не нужны. – А сама вовсю подмигивает мне и шофёру. – Баста, поворачиваем домой!

Мои воспитанники повскакивали с мест и – гурьбой к Белле Степановне. А её дети втихомолку посмеивались.

– Мы будем, будем петь! – вперебой едва не голосили мои.

– Ладно, поехали. Посмотрим.

И какой же чудесный хор расцвёл у нас! Мои воспитанники ещё только что были деревянными, угрюмыми – стали улыбаться, подмигивать, плечами поводить и пели молодцом.

На турбазе было два зала, скорее, зальца. Договорились, что до двенадцати ночи один украсят мои парни, а другой – Беллы Степановны. Девочки тем временем пекли на кухне конкурсные пироги и накрывали праздничные столы. Мы надули три-четыре шара, кое-чем и кое-как принарядили маленькую, *дохленькую* – потом съязвила Белла Степановна – ёлочку и успокоились: зачем особо стараться, всё равно поутру отсюда укатим. Жюри мельком глянуло на наше *художество*, кто-то многозначительно хмыкнул, и отправились мы все в другой зальчик.

Первые трое парней зашли – и слышим:

– У-у-у-ух!

– Ну и ну!

– Что, что такое?! – толкали мы застрявших в проходе воспитанников.

Это же надо, до чего додумались: в середине зальчика красуется обсыпанная блёстками ёлка, а от её маковки несколько хвойных гирлянд бегут по потолку и плавным изгибом стекают по стенам до самого пола. Гирлянды – мягкие лапки-веточки, и такое порождается чудесное впечатление, что и вправду побегут они, – необыкновенно всё воздушное и живое. Представляется, что попали мы в сказочный лес – вот-вот выглянет из-за ветки гном или зайцы вывалят на опушку. Духовито, живительно, волшебно пахнет хвоей и растаявшим снегом. Мы – молчим.

Чудо. Чудо.

Неожиданно забегаёт с мороза Белла Степановна:

– Ой, ой, ребята: кто-то кричит в лесу! Просит о помощи.

Мы хватаем шапки и пальто и – ходу за Беллой Степановной. А дело-то уже кралось к двенадцати.

– Что такое?

– Кто кричит?

– Кому нужна помощь?

За тёмными соснами в кустарнике кто-то громко кряхтит, охает, а другой голос – тоненько пищит. Мы – туда. Видим: в сугробе по самый пояс увяз Дед Мороз с огромным мешком за спиной, а маленькая, хрупкая Снегурочка тянет-потянет его за руку. Ребята не поймут, откуда взялись Дед Мороз и Снегурочка – ведь с нами они не ехали. И я не понимаю, заглядываю в глаза Беллы Степановны. А она помалкивает и подмигивает мне. «Экая артистка эта Белка!» – подумал я.

Под руки выводим нежданных, но желанных гостей на поляну. Дед стукнул своей золотистой палкой о землю и возгласил:

– А ну-ка, братцы-месяцы, явитесь на пир ребячий!

И разом – можно было подумать, что кто-тодохнул, – взвились двенадцать костров обочью поляны да дружно понеслись в морозное небо двенадцать многоцветных, рассыпающихся бисе-

ром ракет. У костров стояли наряженные в кафтаны с кушаками братцы-месяцы и, зазябшие, приплясывали: часа полтора они, бедняги, шефы-милиционеры, ждали нас, а мороз-то в ту ноченьку похрустывал да пощёлкивал.

Эх, понеслось русское веселье! Мы прыгали через костры, водили хороводы, в сугробы, раскачивая за ноги и за руки, бултыхали друг друга, со свистом и визгом кучей катались с горки.

3

Интернатская жизнь ребёнка – нелёгкая жизнь, сжатая, придушенная сильным кулаком режима и правил. Многое что в ней отмерено взрослыми по минутам, отгорожено от любой другой жизни высоким забором установлений, держащихся десятки лет неизменными: в такое-то время нужно встать утром, умыться и одеться, строем пройти в столовую, по команде воспитателя сесть за столы, по команде же выйти из-за них. Своё время для уроков и подготовки домашнего задания, игр и ужина, просмотра телевизора – вроде бы оно правильно, стройно, выверенно, как в математике, да душа, знаете, восстаёт. Ведь сия ляпка на годы и годы! Кто-то из воспитанников от такой жизни становится ещё угрюмее, раздражительнее, молчаливее, а вновь прибывшие малыши, не редкость, ударяются в скитания. «Не смей и шагу в сторону ступить!» – нудно, упрямо жужжала бы безлика и безмолвная машина-режим, если умела бы говорить. Шагнул в сторону – тебя не одобряют ни воспитатель, ни директор, а иногда и твои же товарищи. Воспитателю, бесспорно, легче работать, опираясь на требования режима, на какие-то устоявшиеся интернатские правила и традиции: особо не надо задумываться над тем, чем в ту или другую минуту занять детей.

Белла Степановна по большому счёту признаёт и правила, и традиции, и режим, и расписание, но – ярче, светлее, справедливее у неё выходят и воспитание, и *жизнь* сама с детьми.

Принято водить воспитанников в столовую всех вместе враз – что ж, хорошо, говорит мама Белла. «Но почему – строем?» – спросила она у директора, когда ещё начинала трудиться в интернате. «Потому что потому, уважаемый молодой педагог. Делайте, как все. Не фантазируйте. И усвойте раз и навсегда: главное – дисциплина!» – «Это – казарма!» – «Что ж! А чем, собственно, она плоха?» Как возразить? Белла Степановна стала водить своих в столовую гурьбой: посмеяться они могли, потолкаться, – что и водится в живой, здоровой ребячьей среде. Но некоторым взрослым казалось и кажется, что у воспитанников должно быть иначе. Напирало на Беллу Степановну сердитое начальство, поругивали *особо правильные* коллеги-воспитатели, а она – одно по одному: «Мои дети не в казарме. Здесь семья и дом их». Так и водит гурьбой по сей день.

Она понимала, насколько губителен для детской души режим. Она вообще не любила это слово: что-то режущее в нём, а значит, калечащее, убивающее. «Режим режем!» – иной раз могла она не без ироничной резкости ответить очередному возражателю. В интернате всегда было много беглецов – ребяташки *самоспасались* (её слово!). А своих мама Белла *сама* спасала, потому и бегунов у неё почти что не бывало. Спасала самыми простыми, незатейливыми способами. Видит, начинает угрюмиться ребёнок, или, как говорят в интернате, *псих на него находит*, – даёт ему ключ от своей квартиры: «Иди, дружок, поживи, вволю посмотри телевизор, почитай, отоспись, в холодильнике кое-чего вкусенького найдёшь». Появлялась малейшая возможность – в музеи, в театры везла и вела. Много ездила с детьми по стране. Деньги на поездки воспитанники зачастую сами зарабатывали: где-нибудь на овощных складах всю зиму перебирали картошку, ещё где-то что-то делали. Белле Степановне хотелось и хочется, чтобы её дети всё видели, всё знали. Ей хочется, чтобы каждый их день не походил на предыдущий. Она вечно затевает что-нибудь этакое новенькое: то постановку спектакля, то подготовку к балу, то разучивание песни, то уговорит шефов подбросить пару старых, разбитых мотоциклов, – парней в постель не загонишь.

Я с отрадой видел, насколько отличалась жизнь детей Беллы Степановны от жизни других групп. Но до чего же она, бедненькая, изматывалась! Жить *по-семейному* с двадцатью с лишком детьми – какие ж силы надо! Есть выражение – пьяные глаза. Как-то раз встречаю в коридоре Беллу Степановну. Шла она из актового зала, в котором закончила с ребятами репетицию спектакля. Вижу, слегка покачивает её. Подхожу ближе, присматриваюсь: «Что такое, –

думаю, – неужели пьяненькая?» Бледная, очки на кончике носа висят и, похоже, вот-вот упадут, а глаза, глаза – туман туманом и слипаются. Меня, верно, не заметила, мимо пробрела.

– Здравствуйте, Белла Степановна.

– А-а, добрый вечер, – встряхнула она головой, словно бы сбрасывая сон. Постояли, поговорили. Нет, вижу, не хмельная, но с ног, однако же, валится.

Позже я стал присматриваться к Белле Степановне: она частенько в таком состоянии *уползала* – оценка неравнодушных коллег! – из интерната. Всё за день выжимала из себя. А утром глядишь на неё и думаешь – на года помолодела за ночь: снова бегаёт, снова что-то затевает, тормошит всех и вся, бранится с начальством.

Издавна принято было в интернатах и в детских домах одевать воспитанников в одинаковую одежду. Горестно видеть эту приметку сиротства и безвкусицы. Как-то раз прохожу мимо вещевого склада и слышу – рычит кладовщик:

– Иди, иди отсюда, ради Христа! Ничего я тебе, Белка, не дам.

Заглядываю в приоткрытую дверь. Белла Степановна стоит напротив кладовщика, пожилого, приземистого и прижимистого мужичка, руки – в боки, правую ногу – далеко вперёд, сдавалось, для большей устойчивости, а сама – маленькая, худенькая, истый храбрец-воробей. Улыбнулся я над таким воякой.

– Ну уж нет: вы мне, как миленький, выдадите тапочки! – сыпет она, будто камни. Тяжело и раздельно произносит каждое слово. Всякий, услышав такие звучания, скажет, что шибко грозная женщина, с такой лучше не связываться.

– Нет и ещё раз нет: не выдам! – прямо в её лицо зыкнул уже зелено-красный и даже испаренный кладовщик.

«Ну, – думаю, – распалила же мужика, довела бедолагу!» А был он у нас человеком спокойным, улыбчивым – добрейший мужичок, правда, прижимистый до невозможного, до скардности отчаянной и маловразумительной.

– Нет, выдадите! – И шагнула на него; ещё шаг.

«Э-э, чего доброго сцепятся!» Я вошёл в склад. Они смутились, что я застал их в воинственных, *героических* позах.

– Я не выйду отсюда, пока вы не выдадите мне тапочки, – тихо и сжато проговорила мама Белла и горделиво выпрямленно села на стул.

– На! На, чертовка! – толкнул он ей три коробки с тапочками, отвернулся и притворился, что очень занят пересчётом ученических тетрадей.

Я сказал, что мне нужно получить то-то и то-то, – кладовщик охотно занялся мною. Белла Степановна сгребла тапочки, размашисто расписалась в ведомости и решительным широким шагом проследовала к своим детям. Распря, как я выяснил у кладовщика, получилась из-за того, что всем классам выдали одинаковые тапочки. А Белла Степановна узнала, что на складе имеется заначка – тапочки другого, к тому же *красивого*, цвета, и прилетела обменивать.

– Ух, баба, – рыкнул, но уже привычно улыбчиво, кладовщик. – Не баба, а зверь. Все воспитатели спокойненько получили и уплыли павами восвояси, а этой всё чего-то надо, а эта бегаёт и бегаёт да руками размахивает. Вот дай ты ей, чего хочет, и хоть тресни, хоть умри!

– И часто ли вы с ней ругаетесь?

– Да в постоянку. Уже лет, дай бог не ошибиться бы, двадцать. Я, – как-то застенчиво улыбнулся он, – временами побаиваюсь чего-то, когда она приходит получать одежду на своих ребятшек или школьные принадлежности. Начинает выбирать, шариться, ворчать, костить меня почём зря: то пуговицы её не устраивают, то фасоны, то размеры, то цвета, то ещё чего. А ну её!

– Что, скверный она человек? – зажигаю собеседника.

– Не-е-е! – взмахивает он ладонью, можно подумать, отмахивая мой вопрос. – Она – во человечисе! За детишек может умереть. Сильно старается она, чтобы они были прилично

одеты, обеспечены не хуже семейных. Но мне время от времени зудится её поколотить. – Однако уже цветёт старина улыбкой своей славной.

У всех групп одинаковые спальни и бытовые помещения. А маме Белле всегда хотелось, чтобы было в точь как в семье, как дома, по-домашнему. У каждой семьи, известно, многое что по-своему, на особинку, на свой манер и лад, так и у её детей должно быть, считала она, коли уж *судьбинцуйке* угодно было собрать их в одну хотя и сиротскую, но тем не менее семью. Она старается внести в быт разную домашность: учит девочек стряпать и сервировать стол, устраивает с шефами чаепития и вечеринки; стены в спальнях завешаны детскими рисунками, вышивками, вырезками из журналов, – чего не позволяют, совершенно справедливо действуя по инструкции, другие воспитатели.

Принято в интернате вновь прибывших расселять по комнатам так, как заблагорассудится взрослым. У Беллы же Степановны иначе: новичок поживёт, осмотрится, поночует, где ему хочется, а потом заселяется в ту комнату, в которой ему приглянулось, где любо, душевно ему.

Я с охотой бывал в отсеке Беллы Степановны. Там господствовал такой уют и порядок, что, бывало, и уходить не хотелось. Шторки, занавески выглажены, полы прометены, промыты, блестят. Всюду букеты живых и искусственных цветов; куда ни помотришь – зелень, благоухает. Книжных полок и не счесть сколько.

Но Белле Степановне всегда-то хочется чего-нибудь эдакого необыкновенного, *козырного* (услышал от неё словцо). Такой уж она человек. Давно мечтала об особенной комнате, в которой ребёнок мог бы забыться, отойти душой в одиночестве, поглубже уйти в свои мысли. В таких учреждениях воспитанники неизменно на людях, в толпе, в гомоне. Побудешь день на работе с людьми – и устанешь от них, а интернатским и скрыться некуда. Вот и задумала неугомонная наша Белла Степановна вместе со своими воспитанниками создать комнату уединения и покоя. Месяца три они оформляли её, никого из посторонних не пускали, а всё – тайком, под сурдинку: чтобы, несомненно, потом удивить и порадовать нас. Все три месяца я встречал её ребят то с берёзовыми чурбачками, то с трубами, то с ведрами песка или цемента. Они норовили прошмыгнуть мимо нас незамеченно. Воспитанники из других групп ходили за ними и выпытывали:

– Ну что же у вас там, ребята? Хотя бы чуточку расскажите.

Отмалчивались, увиливали от прямых ответов, посмеивались таинственно и значительно, как маги.

От ночной няни по большому секрету я узнал, что некоторые парни трудятся в той комнате едва ли не до утра, умоляя няню не загонять их в постель.

– К рассвету, – сказала она мне, – загляну туда, а они, бедненькие, клубочком на полу спят. У кого что в руках было, с тем и засыпали: с молотком – так с молотком, с дрелью – так с дрелью. Ой, и молодцы ж какие! *Людьми* будут – увидите!

И Белла Степановна, узнал я, по временам *поночёвничала* там со своими верными шефами, которых поутру я видел отмывающими с рук цемент, стряхивающими с головы опилки. И тоже – ничего не говорят, помалкивают и хитровато посмеиваются. Все дети и даже шефы были захвачены этой особенной работой. Беллу Степановну уже привычно встречал уставшей, желтовато-бледной.

И вот как-то подбегают ко мне её воспитанники и тянут в эту самую комнату. Я вхожу и – немею. Одна из стен вся до потолка выложена срезами берёзовых чурочек, между которыми внизу вмонтирован большой декоративный электрокамин. Над ним нависли огромные ветви оленьих рогов. Трудно определить, на что похоже панно и какой смысл в него заложен, но – впечатляет и удивляет детская фантазия. Левее, возле окон с марлевыми шторами, разрисованными замысловато вьющимися веточками, два стареньких, но подновлённых кресла. А между ними – да-а, в самом деле было чему подивиться – а между ними фонтан двумя лепестками

бьёт из бассейна, оформленного как горное озеро; в воде взблёскивают живые караси. Из бассейна журчащие ручейки падают в нижнее озеро, обрамлённое скалами. Возле других стен – небольшие тростниковые шалаши, в которых можно укрыться, отдохнуть. Кругом – море разлитое зелени, цветов, мелких украшений, – однако, увы, всего не запомнишь. Воистину чудесное творение рук и душ человеческих! Красота и для себя, и для людей.

4

Ещё об одном я должен сказать непременно. О том, что, наверное, является своего рода итогом, *плодом*, если хотите, педагогических усилий и устремлений мамы Беллы, – многие её бывшие воспитанники не теряются из её жизни и из жизней друг друга. И она не уходит из их судеб. Они навсегда остаются вместе – как и должно происходить в порядочной семье с твёрдыми нравственными устоями и любовью, как и должно быть между детьми и родителями. Когда бы ни зашёл домой к Белле Степановне – там непременно человека три-четыре из её бывших. Идут к ней за помощью, идут, если негде переночевать, если разлад уже в своих собственных семьях и пока что негде приткнуться, заходят просто так, поведать, с цветами и без цветов, хмельные и трезвые, улыбающиеся и плачущие, – идут, идут и, я думаю, будут идти. И она к ним идёт и едет, иногда в далёкие, захолустные уголки. Её дети по всей России расселились. Уговаривает своих вздорных дочерей не бросать мужей, а своих увлечшихся страстями и страстишками сыновей не уходить из семей. Кому-то помогает пробить застрявшие дела с квартирой, устроиться на работу, кому-то на свои последние деньги покупает рубашку и продукты.

Жёны воспитанников и мужа воспитанниц тоже зовут Беллу Степановну мамой, и семейную традицию мало кто нарушает. Уже есть у неё внуки и внучки, а среди них – Беллы. Она балует их конфетами, защищает – не всегда разумно, как это и получается у *настоящих* бабушек, – от строгих отцов и матерей. Дела, конечно, всё житейские – незачем особо распространяться. Но кое о чём не могу не рассказать напоследок.

Когда я навсегда уходил из интерната, вконец измученный, исхудавший, Белла Степановна срочно, даже, если не ошибаюсь, ночью, улетала в Подмоскowie к своим бывшим воспитанникам, которые учились там. Нужна была помощь. От подробных объяснений отмахнулась, в спешке готовясь к отъезду. Чуть позже я узнал, что у Беллы Степановны были две ужасно непослушные девочки, которых она воспитывала не с малолетства. Привели их к ней уже в старший класс, выпускной. Курили, матерились, убегали с уроков – не давались педагогическому влиянию. Однажды крепко досадили Белле Степановне – публично курили на выпускном танцевальном вечере. Белла Степановна к ним с уговором, урезонивала, но они – что-то такое заносчивое, даже грубое в ответ.

– Какие же вы суперхамки! – вырвалось у воспитательницы.

Дочери пошли к завучу и пожаловались на свою *маму* – оскорбляет, мол, унижает. Беллу Степановну начальство поругало. Через несколько дней *дочери* укатили учиться в Подмоскowie, холодно, надменно попрощавшись с *мамой*.

Белла Степановна горевала и, быть может, решила, что потеряны для неё эти отступницы. Однако примерно месяцев через десять раздался в интернате телефонный звонок; я присутствовал при разговоре.

– Алло, – говорит в трубку Белла Степановна. – Не поняла: какие мои хамулечки? Откуда-откуда? Танюша, Вера?! Вы?! А я думаю, что за хамулечки. – Улыбается, но вижу – заблестели за очками слёзы. Шепчет мне, прикрыв трубку ладонью: – Помните, помните, я вам рассказывала, как назвала двух своих суперхамками? Вот, звонят! «Это мы, мамулечка, твои хамулечки». Да, да, я вас, девочки, слышу. Ты, Танюша, говоришь? Что стряслось? Давай-ка выкладывай начистоту.

Слушает минут пять. Слёзы высыхают, сползшие было, как всегда, на кончик носа очки резко сдвинуты на своё место, согнутые локти рук как-то так раздвигаются от боков, как для полёта крылья. Произносит жёстко, твердо:

– Кладите трубку, я вылетаю. Утром, думаю, буду у вас. Всё.

– Что такое, Белла Степановна? – спрашиваю, обеспокоенный.

– Некогда, некогда! Вылетаю. Пожалуйста, вызовите мою напарницу: пусть побудет с детьми.

И – улетела: с её ребёнком – беда.

Девушка Таня хотя сначала с юмором и улыбкой поприветствовала Беллу Степановну по телефону, да вскоре расплакалась. Оказалось, что не у кого в целом свете этому непутёвому дитяти попросить помощи и сочувствия, кроме как у своей недавно отвергнутой *мамулечки*. А история её беды была проста и нередка: неизвестно от кого родила, живёт в студенческом общежитии, в комнате четыре человека, сквозняки, младенец простыл, чуть не при смерти, отдельного жилья не дают, денег нет как нет. Что делать, как жить-быть?

Улетела *мамулечка* к своей *хамулечке*, чтобы отдать ей своё тёплое одеяло. Чтобы вручить немного скопленных денег. Чтобы до боли в пальцах стукнуть по столу в кабинете у *несгибаемого* местного чиновника, который просил несколько лет обождать с отдельной квартирой или комнатой для матери-одиночки. Чтобы в бессонных ночах отхаживать младенца. Чтобы поплакать вместе, наконец.

Таким людям нужно долго жить. И чтобы она не надорвалась, не упала, хотя бы чуточку облегчи её праведные пути, Господи.

(1992)

Широка страна моя родная...

Ярко, но и горестно помнился и умом и сердцем Афанасия Ветрова один жуткий день, поворотивший его мысли и чувства.

Однажды, в мае 53-го, в том чудесном солнцегревном мае, когда яростно набирались цвета черёмухи, а подснежники и багульники уже рассыпались своим скромным и ласковым первоцветом по земле сибирской, Афанасия, в те поры секретаря райкома комсомола Иркутска, на несколько дней направили с комсомольским студенческим десантом на стройку, развернувшуюся сразу после окончания войны у реки Китой недалеко от её впадения в Ангару. Нужно было «аврально-ударно», «с огоньком», так понапутствовали их в райкоме партии, подсобить на вспомогательных работах – заливке бетона, перетаскивании бруса и досок «и всего такого прочего».

Сама строительная площадка – соцгородок (социалистический городок) и промзона (промышленная зона), которые несколько позднее стали повсеместно известны как город Ангарск и АНХК – Ангарский нефтехимический комбинат, – была огромна, грандиозна, с размахом на другой десяток километров. Афанасий и его парни-комсомольцы впервые здесь оказались – сидя на занозистых лавках в открытом кузове грузовика, лихо подпрыгивавшего на кочках разбитой гусеничной техникой дороги, ошалело озирались от самой Суховской.

– Фу ты, чёрт: во наворотили!

– Ну, братцы, страна даёт!..

Куда ни глянут – нескончаемо возводятся объекты: дома и цеха, мосты и виадуки, водонапорные башни и многометровые дымовыводящие трубы, тянущиеся выше и выше. Бульдозерами пробиваются в лесных чащобах и следом обустриваются дороги, вбиваются железобетонные сваи, устанавливаются столбы, поднимаются растяжками мачты высоковольтных линий, монтируются провода и трансформаторные будки, и невесть что ещё творится вокруг и всюду. Грохочет, дымит, рычит, скрипит, семафорит всяческая техника. Снуют туда-сюда, как муравьи, люди, облачённые в робы и кирзачи. Кумачовым ором отовсюду, чуть ли не с самого неба, величают и зывают плакаты и транспаранты:

«Партия и народ – едины!»,

«Да здравствует великий Сталин!»,

«Рабочий, тобою гордится Страна Советов!»,

«Дайшь 6-й пятилетний план в три года!»

А из репродукторов рвёт кондово-смолистый, густо-прелый воздух недавно оттаявшей тайги:

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек...

И дым, и пар, и свист, и крик, и лязг, а кругом в необозримости вселенской – тайга, великая, безбрежная тайга, она горами-волнами накатывается и откатывается, будто ещё может пребывать в сомнениях: отдать ли людям свои приволья и леса?

Вдали, отстранённая от всего мира и суетности людской, лучится Ангара. Сковываемая растущей дамбой (перемычкой) в Иркутске, подчиняемая там человеку, здесь она – всецело вольна, величава, привередлива, поворачивая свои воды, как ей хочется, по какому-то своему умыслу тысячелетиями торя русло в неведомые далёкие земли Севера. «К Переяславке бежит», – ласково подумалось Афанасию.

Заметили сразу, потому что и невозможно было не заметить, очень высокие, безобразно вычерненные и покоробленные солнцем и непогодами заборы, увенчанные накрутками колючей проволоки, с торчащими смотровыми вышками, на которых бдят солдаты с автоматами ППШ. За заборами, с высоты кузова, проглядываются седо-серые шеренги неказистых барачных бараков, однако встречаются и необычные строения – юрты, но нелепо огромные, щелисто дощатые.

Понятно: зоны.

Зона на зоне.

Слышал Афанасий, что помимо вольнонаёмных работников на стройке трудятся и заключённые, однако никак не ожидал, что лагерей столько много. Нетрудно догадаться, что здесь десятки тысяч невольников.

У одного из строений, какого-то склада, машина затормозила. Спрыгнули на землю. Размяться бы, стряхнуть пыль с себя, повынимать занозы, да из-за заборов обвалились звуки, перебивая желания и недомогания: озлобленный лай собак, рубленные командные окрики, вязкий и тяжкий топот сотен ног.

– Смотрите, смотрите, ребята: заключённых ведут!

– Где, где?!

– Тихо вы, горлопаны! – с начальственной строгостью прищипнул Афанасий.

Но сам, однако, весь вытянулся, даже, будучи изрядно рослее своих подопечных, на цыпочки привстал, чтобы получше рассмотреть, как по длинному коридору из колючей проволоки конвойные с раззадоренными, науськанными собаками гнали чёрными пыльными шеренгами заключённых из жилой зоны в промышленную – на строящиеся многоэтажные дома, по периметру целого квартала обтянутые колючей проволокой. Афанасий жадно всматривался в лица заключённых, впервые в жизни им увиденных, – сплошь безобразно серые, мертвенные, задервенелые.

Эти люди представились ему какой-то однообразной жидко-грязной массой, которая перетекала из одного места в другое. И воли у этой живой консистенции нет как нет: куда подтолкнут, накренят чашу жизни – туда и течёт, переваливается всей своей тяжкой грузностью.

Афанасий заметил: какой-то горбоватый, безобразно отощальный, с неестественно маленьким, представилось, что засохшим, личиком старик-арестант, перед тем как со всей колонной унырнуть внутрь подвала строящегося здания, замедлился на мгновение-другое, поднял голову и посмотрел, точно в последний раз, в небо.

Небо жило в нежной юношеской недоразбуженности этого раннего тёплого утра. Его искрасна подкрашенный восходящим солнцем лазоревый купол уже поднялся неведомыми, но могучими силами довольно высоко и будет раздвигаться ободом окоёма всё шире, подниматься всё выше, в какую-то беспредельность свободы и величия.

Неожиданно к этому жалкому, возможно, доживающему свои последние дни старику подскочил сопровождающий окриками и тычками колонну заключённый, видимо, бригадир, хотя и упитанный, но такой же серый, и – пинком его. Старик, с внешне шутовской подскочкой лёгкого предмета, подпрыгнул и выстелился на строительном мусоре. Казалось, что не встать ему уже, не жить, не видеть более этого чудесного, вечного неба. Однако он, как нередко случается с затравленными зверьками, переполошно подскочил на ноги и что было сил метнулся к чёрному зеву подвала. Бригадир успел ещё разок подцепить свою жертву сапогом и даже хватить кулаком по спине. Всё это он проделал в какой-то мрачной весёлости, несомненно, на усладу себе и на потеху конвоирам, которые, ласково потрёпывая скулящих собак, благодушно посмеивались.

У Афанасия невольно сжались кулаки.

К нему и его комсомольцам подошёл бойким шагом бравый мужчина в спецодежде, в захлыватски заломленной, захватанной кепке, с погасшей и обмусоленной на мундштуке беломориной в углу рта:

– Здорово, что ли, комсомол! Молодцы, что приехали. Нам помощники до зарезу нужны. Три дня ударно поработаете – каждому по грамоте выпишу. Ударно! Уговор? Кто у вас старшой?

– Ну... я, – мрачно отозвался Афанасий.

– Я тебе не лошадь – не нукай. Чего такой кислый, командир?

– За что того старика?

– А-а, брось, не бери в голову! У зэка свои законы. Потому их с собаками и под прицелом водят, что они и сами уже зверьё лютное.

– Зверьё? – возможно, судорогой повело щёку Афанасия.

– А что, не зверьё, думаешь? Зверьё, зверьё, говорю тебе. Я тут с ними уже пятый годок маюсь – только из-под палки и способны работать. У нас, вольнонаёмных, жёсткий план, а они, сволочи, раз за разом срывают его. Им что: хоть работай, хоть не работай – срок один хрен отматывается назад. А у нас – государственный план. Государственный! Понимать надо, братишка. Хорош кукситься, всякую кислую достоевщину с тухлой поповщиной мне тут разводить! Давайте-ка знакомиться: прораб Захарьин Иван Степанович. Под моим чутким руководством три этих денька-денёчка и поработаете. Пойдёмте, покажу вам бытовку, где будете отдыхать и поночёвничать. Покормим вас и-и – на стройучасток шагом арш! Ну-кась, ладошки покажите, хлопцы. Ай, розовенькие какие! Маменькины сыночки, видать, все вы. Загнать бы вас на зону на недельку-другую – людьми бы, глядишь, вышли оттуда. Испужались? Шучу, шучу! Я и сам боюсь туда угодить. Порой план трещит по швам – вот и ночами маешься, да так, что и про жёнку забываешь, а она, родная душа, под боком сопит, посапывает. Мыслишка так и свербит мозгу мою: вот-вот постучат посерёд ночи, загребут, скрутят, печёнку да почки отшибут и – хана мне. Папиросу за папиросой смолишь, всю подушку затрухаешь – жёнка утром свирепеет. Поэтому план – и наш бог, и чёрт в одном лице. Молимся, выходит, и богу, и чёрту. Ну, хорош лясы точить. Айда в бытовку, племя младое, незнакомое! Шагом арш! Эй, конвойные, собак сюда! Шучу, шучу, хлопцы! Ать-два, левой, ать-два, левой!

«Тоже мне, массовик-затейник, – притворялся сердитым Афанасий, но Иван Степанович ему явно глянулся. – Сейчас, чего доброго, на кладбище приведёт нас и пляски устроит. Н-да, кому горе, кому потеха. Эх! пойми нас, человек».

* * *

Проходили дорогой вдоль забора жилой зоны. Обочина и кювет казались припорошенными снегом – в каких-то клочках бумаги.

– Записочки. С того света, – охотно пояснил Захарьин, зачем-то расшвыривая сапогом бумажные навалы.

– Что? – не понял Афанасий.

– Мимо этого забора вольный народ на работу и с работы ходит, а зэка денно и ночью записочки подбрасывает: жалобятся, сердешные, на своё житьё-бытьё, просят переслать письмо их родственникам, денег да харча выканючивают: перебросьте, мол, сердобольные граждане, через забор. Находятся жалостливые – чего-нибудь бросают им. Как собакам. Но узрит постовой – может и пальнуть. И не в воздух, а – безотлагательно по цели. Тут у нас порядки ещё те!

Афанасий, как и ещё несколько парней, подмахнул рукой одну из бумажек, пожухлую, схожую с палым листом. Ясно, уже давно здесь лежит. Развернул:

«Здравствуй, добрый Человек! Я, Ильенко Александр Петрович, ни за что ни про что десять годов мыкаюсь по лагерям. На тюрьме гнобили меня два с лихвой годка. Выколачивали, чтоб братовъёв своих сдал с потрохами. Что-де они колхозные вредители и ненавистники колхозного строя. Не сдал. А братовья после ушли на фронт. Сложили головы за Вождя и

Отечество. А меня кинули в Тайшетлаг. Гнил в болотах на торфяниках, лес валил и корчевал. Обморозился, нутря застудил смертно. Потом лазарет. А там блатота заправляет. Бугаи месяцами отлёживаются, спирт хлещут, медсестрёнок насилюют. Однажды ночью они нас, доходяг, подвели к раскопегаренной печке. Накалили тавро в виде звезды. Сказали: если дёрнетесь – пёрышком брюхо вспорем. И – калёным железом всем нам, доходягам, на ж... по звезде выжгли. Сказали: от коммунистов вам по звезде героя Советского Союза. Я чуть не помер, а они ржгут. Потом – Китайский ИТЛ, вот эта промзона. Вроде ничё: кормёжка – не баланда, да норма выработки мне уже не по силам, кровью я харкаю, спину едва-едва разгибаю. Товарищи! Невмочь уже измывательства и пытки терпеть. Особенно лютуют чечены и ингуши. Все хлебные должности скупили, собаки, нам, русским людям и другим нациям, никакого продыху не дают. Товарищи, пожалуйста, напишите нашему дорогому Вождю и Учителю товарищу Сталину. Сообщите ему о невмочной доле честного зэка».

Афанасий смял бумажку, но не выбросил – в кулаке держал. «Помер вождь!» – подумал, зачем-то взглянув в сторону промзоны, где трудились заключённые.

– Чего, паря, там нацарапано? – поинтересовался Захарьин. – Плачутся, поди? Эт-т они мастера ещё те, а чтоб поработать на славу – дудки вам! А ты чего с лица-то спал? У-у, не с привычки, молод ещё! Ну, ну. А я уж, брат, тут, кажись, зачерствел в корень. Из меня жалость не вышибешь даже, пожалуй, кувалдой. А вот она и ваша бытовка. Располагайтесь, переоденьтесь в робу, потом – шагом арш в столовку и – на участок. Во-он к тому домику подойдете. Я вам наряд на работы выпишу. Бывайте. Да выше нос: коммунизм как-никак строим! А то записочку прочитал и – скуксился.

– Да я не... я ничего... я так... – бормотал смешавшийся и густо покрасневший Афанасий.

– Рассказывай мне, стреляному воробью, – хитро подмигнул Захарьин.

Но неожиданно склонившись к самому уху Афанасия, жарко выдохнул:

– Да у меня, братишка, у самого нутро переворачивается, когда я читаю их чёртовые писульки. Что ж мы творим, что ж мы творим, ироды рода человеческого!

И снова – неожиданно и бодро:

– Выше, выше, ещё выше нос! Не сегодня завтра – коммунизм, а вы тут развели, понимаешь ли, поповщину с достоевщиной!

Допоздна Афанасий со своими комсомольцами на лесопильном заводе подкатывал и затягивал на транспортёрную ленту брёвна. Звенели и трубили пилорамы, раскраивая туши брёвен. Весёлым роем вылетали из станков и пуржили опилки. На выходе, на погрузочном пяточке, – солнечно-жёлтые новорождённые крепыши-бруски. В воздухе бродил молодой, терпкий дух смолы и корья. Работалось бодро, радостно, споро, с доброжелательными подначками друг другу, однако мысли Афанасия переваливались в голове тяжёлыми жерновами, словно бы перетирая его ставшими нелёгкими по приезде сюда чувства. Хотелось с кем-нибудь поговорить, да с кем?

Усталые, разгорячённые, пропотелые и пропечённые щедрым солнцем, поужинали, помылись. Многие завалились в бытовке на нары и лавки. Некоторые поперебрасывались шуточками, поперекидывались в дурака, пощёлкали по столу домино, однако вскоре отовсюду послышался сонный посвист и храп. «Умаялась моя кабинетная комсомолия», – последним расположился ко сну Афанасий. Тоже утомился, тоже гудели у него кости и мышцы с непривычки к непосильному физическому труду. Когда ездил к родственникам в Переяславку помочь по хозяйству – забыл уже, заверченный в своей, понимал с горечью, «бумажной» и «речистой» райкомовской жизни. Уснуть бы, но решительно не спалось. Ворочался, про себя считал, а то и притворно зевал, – не помогало.

Наконец, встал, слегка облачился, вышел на воздух. Ночь приветно приласкалась бархатистой прохладой, можно было подумать, что поджидала его, не давала сна, как всем. Млеч-

ный Путь вольным разбросом звёзд пытливо заглянул в его глаза. Стоял под этим прекрасным небом, дышал воздухом тайги. Вроде бы для того и вышел. Однако неожиданно, по какому-то внутреннему толчку, рывку сердца – пошёл. Казалось, не по воле своей шёл, а ноги сами несли его.

Записки, как и Млечный Путь, светятся здесь, на земле, дорожкой. Где-то скулят и подвывают овчарки. Где-то уставные выклики и команды:

- Рядовой Иванников пост сдал!
- Рядовой Подлузский пост принял!
- Шагом марш!

Афанасий воровато огляделся, сгрёб ворох бумажек, запихнул в карман брюк. Ещё подцепил, в другой карман втиснул, чуть не разорвал его.

В бытовке не стал включать свет – в аварийном ящичке свечка нашлась.

Вынимал из кармана по одной – читал, темнея или зажигаясь душой.

* * *

«Нет тебя, Бог! Нет тебя, Бог! Нет тебя, Бог! Пусть будут прокляты все люди, вся Земля! Мои страдания пусть лягут неподъёмным бременем на всё человечество! Проклятая, проклятая, проклятая жизнь! За что, за что? Я завтра удавлюсь, а вы живите, радуйтесь – жрите, пейте, сношайтесь и испражняйтесь в удовольствие, но вы прокляты мною! Прокляты, прокляты, прокляты! Вы все там, на свободе, вы поганые трусы, приспособленцы, холуи! Вы создали для себя угодливого Бога, чтобы он вас ублажал. Ладно, ублажайтесь! Но вы прокляты, прокляты, прокляты! И Бога настоящего, природного у вас нет и никогда не было и не будет! Потому что вы черви, а не люди! Ублажайтесь, скотьи племена, а я ухажу! Ша!»

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь. Люди добрые, пожалуйста, сообщите моим родным в город Белозерье Архангельской области, на улицу Партизанскую, 45, Душиновой Мариш Сергеевне, моей благоверной, что я жив и здоров, что верую во встречу с ней если не на этом свете, так непременно на том. А я, кажется, уж скоро сгину. Сообщите ей, где я сижу, чтобы она потом приехала на мою могилку и чтоб мы с ней поговорили. А куда нас, эков, свозят потом, вы, люди добрые, знаете. И хотя без крестов и табличек нас хоронят, как собак или скот, да земля-то едина. А если она, голубка моя, окажется рядом где, так я её учую и подманю к моим косточкам. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Аминь. Душинов Сергей Павлович я. Не забудьте про меня, люди! И про Бога не забывайте».

«Эй, вы, сучары! Чё тама бродите, зенки пучите на честного эка? Я, гвардии сержант 8-го полка краснознаменной Ровненской дивизии, прошёл с кровопролитными боями от Суглинья до Вены, а таперь вы на меня как на зверюгу зырите гляделками своими поганьими? Да я вас, вишвогонцы, засранцы, передавлю как курят, только бы выйти мне! Ждите гвардии сержанта, орденноносца! Он фашистское гадьё бил и до вас доберётся, ишкры!»

«Товарищи, умоляю, отправьте весточку моим родным. Напишите: жив-де Иван Прозоров, подал на пересмотр, ждёт благополучных вестей. Адресок: Павлоградская область, Усть-Каменский район, улица Октябрьской революции, 128–47, Прозоровой Мариш Мартемьяновне. Она мама моя. Не забудьте, товарищи, умоляю. Мама у меня сердечница, ей непременно надо знать про меня. Я один у неё. Понимаете, один как перст. Прямо вот сейчас и напишите. Ноги ваши буду целовать. Маму спасите. Одна она у меня, и я у неё один. Напишите, письмо в почтовый ящик спустите. Вам же не трудно! Она у меня сердечница, мама моя. Не забудьте!»

Вырезанные из газеты буквы наклеены на бумагу:

«Я бандеривец. Я в котлах варив ваше росийске м'ясо живцем в лисах Прикарпаття. Ми не здалися. Ми ще нагадаємо вам про себе. Ми перейдемо Дніпро и вашу ё... Москву зитримо з лица земли. Великому визволителю народив Гитлеру помешали морози, а нам помешает тильки наша смертынька. Никто не забыт, ничто не забыто, – ваши слова? Ну, ми у вас их займемо на час. Ждите нас, ё... москали».

«Братушки, людиё, от сердца лекарства какого-нить не забросите? Маюсь сердцем. В лазарете фельдшар баит: дуру, мол, гоню я. Ишак он, коновалом работал на воле. 18 апреля буду стоять, как пёс, у забора с 18.00 до 19.30. Пожалуйста, перебросьте хоть чего-нить! Подыхаю

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.